

КОРОТКО О КНИГАХ



ЮРИЙ СТЕФАНОВИЧ. Натуральная школа. Повесть и рассказы. М. «Советский писатель». 1988. 285 стр.

Случай Юрия Стефановича являет собой пример парадокса, каких немало в нашей словесности. Под самым ранним из вошедших в «Натуральную школу» произведений дата — 1967 год, а мы говорим о первой книге, о «молодом писателе», о том, что «рассказы долго и трудно пробивались»...

Прочитавший повесть «Снега» (написана в 1973-м, впервые опубликована в 1985-м) сейчас не сразу и поймет, почему это произведение было отсеяно из текущего литературного процесса, в чем его, так сказать, острота. Но надо вспомнить первую половину 70-х, шум и грохот вокруг «стройки века» — БАМа, чуть ли не ежедневные победные реляции с места событий. Надо вспомнить, что в это время даже самая умеренная социальная критика встречалась в штыки (взять хотя бы новомирские публикации 1972 года: «От мира сего» Ю. Крелина, «Я и мой автомобиль» Л. Лиходеева — и рецензии на них в «Литературной газете»). И тогда будет нетрудно понять, что спокойно, местами меланхолично написанные «Снега» с их твердой установкой на дегероизацию и правдивость были обречены. Автору не могли простить, что его герои не только строят свою «лэпу» (линию электропередачи на Сахалине), но и пьют: перцовку, спирт и чуть ли не одеколон. Что работают многие без всякого не то что энтузиазма, официально предписанного, но и вовсе без охоты, стараются от работы увильнуть, почему-то стремясь туда, где легче, а не наоборот. Да и работают-то не из идейных соображений, не потому, что «родине надо», а за деньги (напомню, что это крамольное понятие в художественной литературе 70-х почти не фигурировало).

Ю. Стефанович описал, как умирает от ожогов один из строителей, Руссков. Вот тема для любителей литературной романтики! (Как раз в 1972 году погиб в огне, спасая свой трактор, рязанский комсомолец А. Мерзлов, посмертно награжденный орденом; об этом тут же была сочинена пьеса.) Но Ю. Стефанович «испортил» и этот сюжет: Руссков ничего не спасал, просто ночью загорелась палатка, а он спал в самом дальнем углу, «на него стойка и повалилась, и брезентом горящим поверну накрыло». Бригада в огонь обратно ринулась, потому что там получка за три месяца была, а когда кто-то крикнул, что в огне баллон с кислородом остался, то все бросились назад, Русскова позабыли, и бригадир Луговик в одиночку из горящего брезента его вынимал...

Конечно, в 1973 году главный смысл заключался в контрасте с дежурным оптимизмом и литературной условностью при изображении трудового героизма. Но сегодня контраст стерся и заметнее стали недостатки, скрытые в концепции «Натуральной школы».

Да, с одной стороны, сила непосредственных наблюдений, точность и непредвзятость снимков с природы. Но с другой — отсутствие социального анализа, какая-то остановка на полдороге в осмыслении.

В «Снегах» очень интересен образ мастера на строительстве, мастерка, как пренебрежительно называют его рабочие. Намечен и острый конфликт, вызванный противоречиями между социальными группами. Но только намечен, все тут же уходит в чисто психологические объяснения.

Три рассказа — «Хуже нет», «Голос», «Последние дни бича Плещкого» — самые сильные произведения сборника. Ю. Стефанович — хороший рассказчик, это его жанр, и повесть «Снега», я думаю, не случайно распадается на три самостоятельных рассказа с общим местом действия и общими героями.

Рискуя показаться назойливым, предьявлю и здесь ту же претензию: утаенность социальных причин, объясняющих человеческую судьбу. «Последние дни бича Плещкого» — самый характерный в этом смысле пример. Некий человек, о котором почти ничего не известно, «хотел писать хорошую, свою прозу, и он понял, что необходимы опыт, знание жизни и — страдание. Страдание не мучительное, не мешающее работать, но тихое, тайное — для себя. Оно было невозможно без одиночества, глубокого, полного одиночества, и он решился. Уехал». Где-то работал — на теплотрассе, в леспромхозе; оказавшись в больнице, начал писать; потом, неожиданно осознав, что получается, запил, опустился, стал бичом; зарабатывал и быстро пропивал деньги, не утратив, правда, на свою беду, некоторой созерцательности и способности к мучительным воспоминаниям о начале.

Конечно, можно описать такую жизнь как психологический казус, вывести его из какой-то не названной по имени тайны, корнящейся еще в детстве героя (а Ю. Стефанович именно так и поступает). Однако не упущена ли возможность показать социальную подоплеку такой судьбы, особенно если речь идет о добровольном изгое?

Пожалуй, равновесие психологического и социального начал достигнуто в рассказе «Хуже нет» — о судьбе несчастной старухи, не любимой ни детьми, ни внуками, которая не может под конец жизни найти себе пристанища ни у одной из дочерей.

На прозе Ю. Стефановича — в лучших ее образцах — лежит отпечаток творческой манеры Ю. Казакова (говорю это в похвалу). Правда, фраза цветистей, чем у Ю. Казакова, больше орнаментирована, однако о связи упорно напоминают и интонация рассказчика и некая таинственность жизненного процесса, непостижимость мира, которую автор и не собирается разрушать. Как и у Ю. Казакова, у Ю. Стефановича человек зависит от окружающей его среды, но только не социальной, а природной, направляющей его жизнь. Именно потому герои Ю. Стефановича подбирают себе место обитания — оно создает их, и они знают это. Таков Плецкий, таков же и Солянов — персонаж с биографическими чертами автора, работавшего ботаником на Дальнем Востоке.

В этом контексте открывается второй, куда более глубокий и, думаю, более важный для автора смысл названия «Натуральная школа»: школа природы, обучающая, пантеистически влияющая на человека, она оказывается альтернативой среде социальной, доверие к которой утрачено.

Михаил Золотонос.



АЛЕКСАНДР КУШНЕР. Живая изгородь. Книга стихов. Л. «Советский писатель». 1988. 143 стр.

Если спросить меня, что нового в новой книге Кушнера, то прежде всего — это слово «газета». Слово «книга», вызвавшее странный протест иных критиков, было у Кушнера всегда, а вот «газеты» действительно не было. Что тоже, в свою очередь, ставилось в вину, инкриминировалось как явная асоциальность.

Но ведь внимательный читатель всегда понимал, что поэзия Кушнера была исподволь движима одной из серьезных социальных проблем — скрытым конфликтом между личностью и государством.

Конечно, самой этой проблемы долгое время у нас как бы не существовало, она как бы осталась в веке прошлом, ну в крайнем случае — начале нынешнего. Скажем, в году 1913, когда писались «Петербургские строфы» Мандельштама: «Летит в туман моторов вереница. Самолубивый, скромный пешеход, чужак Евгений, бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет!» Однако вопреки официальному мнению тема эта вовсе не была исчерпана: хотя имя «бедного Евгения» так и не вошло в наш обиход как нарицательное, сама проблема человека нечуждого, маленького несомненно присутствовала в жизни и литературе.

Так, например, удивительное мандельштамовское определение своего Евгения словом *пешеход* (только сейчас обретшим всю полноту смысла) будто специально придумано для лирического героя Кушнера: «Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки, у стриженных лип на виду, глотая туманный и стойкий бензинный угар на ходу...» Видите, кушнеровский пешеход даже бензин совсем по-мандельштамовски глота-

ет. Правда, с иными чувствами... Без отвращения. Тесно смыкаясь с классическим сюжетом, поэзия Кушнера его по-своему поворачивает и развивает: этот пешеход и бедности своей не стыдится, да и судьбу совсем не клянет. Ведь кушнеровский герой знает гораздо больше героя молодого Мандельштама: и про кровавый террор и про огромную войну. Судьбу поколения, заставшего все это лишь краем, действительно не назовешь несчастной. Это ощущение, постоянно стоявшее за его прежними стихами, Кушнер формулирует в своей новой книге: «Я помню майский день в бессмертном сорок пятом, мне в пятьдесят шестом пробило двадцать лет. Кто не жил в эти дни, пристрастие наше к датам, должно быть, не поймет, ему в них доли нет». Согласитесь, на таком историческом фоне и бедность (возвращаясь к мандельштамовским строкам) не страшна и, уж точно, не стыдна. А может, даже почетна. Ведь на роль *пешехода* брежневская эпоха выдвинула прежде всего интеллигента, более других ущемляемого и морально и материально.

От имени этого новейшего Евгения и говорит Александр Кушнер. И не просто говорит, а всею силою ума и таланта восстанавливает его в истинном достоинстве, подлинном достоинстве души и интеллекта. То, что всегда считала своим долгом русская проза — вступаться за униженных, — делает и лирика своими собственными средствами. Не теоретизируя, а просто будучи самим собою, Кушнер вступился за честь интеллигента, дал убедительную альтернативу самодовольным героям недавних времен. Его модель существования, демонстрирующая не нищету и не аскезу, а подлинный пир ума и сердца, объективно требовала силы, мужества, юмора, доброты. Старинная тема «маленького» человека претерпевает в этой связи любопытную трансформацию. она звучит у Кушнера так:

А мы и в пятьдесят Андрюши, Люси, Саша.
Я к отчеству, сказать по правде, не привык.
Порхают имена младенческие наши.
Не тратя лишних слов, ложатся на язык.

И внуки наши нас не старят почему-то.
Так праотцев небось на ложе дум и нег,
Средь жен и козьих стад века, вздымаясь
круто,
Не старили... ах, Мафусаилов век!

Задорно, не правда ли? Перед нами начало одного из недавних стихотворений поэта. Но, может быть, речь идет совсем не о том? О том, о том, погодите:

Мне отчество друзей неведомо. Потерю
За гранью здешних дней восполним
как-нибудь.
Солидности боюсь и важности не верю.
Писатель входит в дверь, выпячивая грудь.

Мы переждем его с улыбкой в отдаленье,
К нам вечность в руки шла одною из удач.
Поэтому-то я на наше поколенья
Печально не гляжу, — не хнычь над ним,
не плачь!

Вот как, оказывается. Хотя сегодня, в момент перераспределения социальных ролей, казалось бы, самое время пожаловаться, пороптать, побранить поверженных «кумиров». Однако Кушнер, верный своей многолетней привычке, склонен подсчитывать лишь обретения. Правда, оптимизм его на-